

**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И М. Н. КАТКОВ  
(ИЗ ИСТОРИИ РОМАНА “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”)**

© 2013 г. С. В. Березкина

Статья посвящена выявлению важных для творческой истории романа точек соприкосновения идейно-образных решений Ф.М. Достоевского с критико-публицистическими выступлениями и взглядами М.Н. Каткова, издателя “Русского вестника” и “Московских ведомостей”. В статье исследуются три эпизода, которые связаны с “Физиологией обыденной жизни” Льюиса, войной за Шлезвиг-Гольштейн и изображением Сони Мармеладовой в “евангельской главе” произведения. Последний эпизод рассматривается на фоне обсуждения в русской литературе “женского вопроса” и позиции, которую занимал в нем Катков.

The article attempts to detect important for the creative history of the novel “Crime and Punishment” points of contact between Dostoevsky’s ideological and imaginative artistic decisions and Katkov’s (editor of “Russkii Vestnik” and “MoskovskieVedomosti”) critical-polemical speeches and views. The article looks into three episodes associated with the “Physiology of Everyday Life” by J.H. Lewis, the First Schleswig War (Schleswig-Holsteinischer Krieg), and the image of Sonya Marmeladova in “the Gospel chapter” of the novel. The last episode is examined against the background of the “women’s issues” discussion in the Russian literature, and Katkov’s take on it.

*Ключевые слова:* творческая история романа, критико-публицистическая деятельность Каткова, журнальная полемика, Дж.Г. Льюис, датско-прусская война, женский вопрос, образ падшей женщины.

*Key words:* genesis of Dostoevsky’s novel *Crime and Punishment*, M.N. Katkov’s critical and journalistic activities, polemics in periodicals, J. H. Lewis, the First Schleswig War, women’s issues, the image of a fallen woman.

Роман “Преступление и наказание” Ф.М. Достоевского был впервые напечатан в 1866 г. в журнале М.Н. Каткова “Русский вестник”. Известно, как трудно далось писателю решение обратиться в сентябре 1865 г. к Каткову с предложением своего произведения, в тот момент еще не написанного. Взаимоотношения Достоевского с Катковым в период издания журналов “Время” (в особенности) и “Эпоха” были сложными. На страницах своих журналов Достоевский и Катков обменивались в критико-публицистических работах выпадами, порой очень жесткими, причем пик этих выступлений пришелся на 1861–1863 гг. Тем не менее, близость в общественно-политических взглядах обоих литераторов делала возможным сотрудничество их в одном периодическом издании. Когда Достоевский писал свое произведение, он постарался учесть позицию Каткова и его изданий по целому ряду вопросов. Выявлению этих моментов в “Преступлении и наказании” посвящена настоящая статья.

1

О Соне Мармеладовой Раскольников впервые слышит еще в канун убийства от ее отца, “пьяного чиновника”, причем в рассказ его о ней

тут же вплетается упоминание Лебезятникова (как впоследствии стало известно, нигилиста), который пытался “просветить” его дочь: «...уже достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романического, да недавно еще, через посредство господина Лебезятникова, одну книжку – “Физиологию” Льюиса, извольте знать-с? – с большим интересом прочла и даже нам отрывочно вслух сообщала: вот и всё ее просвещение» [1, т. 6, с. 16]. Речь идет о двухтомном труде английского философа-позитивиста Джорджа Генри Льюиса (Lewes; 1817–1878) “Физиология обыденной жизни” (1859–1860). Поскольку в сведениях о переводах “Физиологии” в России существует немалая путаница, сразу же представим уточненный их обзор.

В романе Достоевского, как это и было ранее определено комментаторами, речь идет о издании: *Льюис Д. Физиология обыденной жизни: В 2 т. / Пер. с англ. профессоров Моск. ун-та С.А. Рачинского и Я.А. Борзенкова. С политапажами. М., 1861–1862. Этот перевод издавался еще трижды (последний раз – с исправлениями – в 1867 г.), у Достоевского же было первое или второе (1863 г.)*

издание книги [2, т. 1, с. 400; 3, с. 174–175]<sup>1</sup>. В 1866 и 1876 гг. “Физиология” печаталась в другом переводе (Л. Трейтера и А. Смирнова), с более адекватной передачей текста Льюиса. Последнее издание (1876 г.) вновь приобрел Достоевский [4, с. 47; 1, т. 23, с. 113, 476].

В.Я. Кирпотин полагал, что Лебезятников предлагал героине “Физиологию” Льюиса «с тайными мыслями не только просветить, но и “воспользоваться” распропагандированной Сонечкой» [5, с. 252]; так, кстати, понимал искаительство Лебезятникова и Мармеладов: “Сначала сам добивался от Сонечки...” [1, т. 6, с. 18]. В восприятии читателей середины 1860-х гг. подобная связь, по-видимому, существовала, о чем свидетельствует статья Н.И. Соловьева “Разлад”, где “нигилистка-камелия” завязывает в маскараде разговор вопросом: “Ты читал Льюиса <так!>?” [6, с. 25–26]. Уже по поводу первых публикаций текста “Преступления и наказания” анонимный газетчик писал: «Г. Достоевский <...> не говорит прямо, что либеральные идеи и естественные науки ведут молодых людей к убийству, а молодых девиц к проституции, а так, косвенным образом дает это почувствовать. <...> Автор перед тем как пустить по “желтому билету” едва грамотную Соню, дочь пьянчужки Мармеладова, дает ей прочесть, что бы вы думали? Поль де Кока, Баркова? нет – “Физиологию” Льюиса» [7; 8, с. 737].

В своей попытке опровергнуть мнение Кирпотина, да и анонимного фельетониста “Недели”, Б.Н. Тихомиров почему-то сводит разговор о книге Льюиса к отсутствию “в изданиях” 1860-х гг. “раздела, посвященного половой сфере” [9, с. 73] (в скобках отметим: не было его и в других изданиях). По воспоминаниям современников, среди нигилистов 1860-х гг. “Физиология обыденной жизни” была очень популярна как одна из тех книг, которые учат “служению общественным интересам” [10, т. 2, с. 79, 117; 11, с. 480; 1, т. 7, с. 364]. Комментаторами отмечалось, что книга Льюиса, как популярное изложение естественнонаучных идей, “пользовалась широкой известностью среди материалистически настроенной русской молодежи 1860-х гг. наряду с сочинениями Т.Г. Бокля, Ч. Дарвина, Я. Молешотта, К. Фохта, Л. Бюхнера” [1, т. 7, с. 364]. Она произвела огромное впечатление на И.П. Павлова и И.М. Сеченова.

Книга Льюиса была пронизана единой философской идеей: это было целостное мировоззрение, призыв к реформированию восприятия всей жизненной сферы человека как упорядоченной

органической системы. Критические отзывы на нее в русской прессе с самого начала оказались связанными с откликами на “Антропологический принцип в философии” (1860) Н.Г. Чернышевского. Выступивший против него в трудах Киевской духовной академии П.Д. Юркевич (“Из науки о человеческом духе”, 1860) дал противникам утилитаризма в философии и нравственности, подвизавшимся в “Отечественных записках” и “Русском вестнике”, богатый материал, который был использован (попутно или специально, но с неизменно высокой оценкой научно-философской компетентности Юркевича) и в выступлениях в связи с “Физиологией”. Фрагменты из работы Юркевича были приведены в нескольких статьях Каткова 1861 г. [12; 13; см. также: 14].

Журнал “Время” в ноябре 1861 г. посвятил статью обсуждению книги Льюиса и оценил ее достаточно высоко: “...мало найдется популярных книг равного с нею достоинства. <...> Настоящая наука всегда занимательна, потому что в ней присутствует живая деятельность ума, живой интерес познания”. Самого ироничного отзыва со стороны журнала братьев Достоевских заслужила журнальная полемика вокруг философских идей Чернышевского и, попутно, Льюиса: «...“Отечественные записки” схватились за нее <“Физиологию”>, чтобы на основании физиологии опровергать разные отвлеченные учения г. Чернышевского <...> Г. Чернышевский <...> отвечал, что “Отечественные записки” совсем не понимают Льюиса, а что он, Чернышевский, вполне его понимает и совершенно с ним согласен. Тогда “Русский вестник” стал предостерегать г. Чернышевского, чтобы он не слишком доверялся Льюису, что есть вещи, в которых он с Льюисом никак не сойдется <...> Все эти Льюисы, Бокли, Милли, Дарвины – преопасный народ...» [15, с. 52, 51].

Выступления эти были вызваны первым томом Льюиса; после выхода следующего, второго, полемика вспыхнула с новой силой. Рецензия М.А. Антоновича на “Физиологию”, писавшаяся с учетом тех выпадов, которые сделали в адрес друг друга Чернышевский и Юркевич, вышла в февральском номере “Современника” за 1862 г. под красноречивым названием “Современная физиология и философия”. В ответ Катков предоставил Юркевичу место для публикации огромной рецензии на книгу Льюиса под названием “Язык физиологов и философов”, которая печаталась в “Русском вестнике” за 1862 г. (№ 4, 6, 8). В статье Юркевича, отдававшего должное таланту Льюиса, выражался протест против попыток материалистического упрощения психической жизни, при этом статья в значительной части была направле-

<sup>1</sup> Книга, купленная Достоевским в 1863 г., не сохранилась.

на и против Антоновича (о полемике вокруг работ Юркевича см.: [16]). А с Антоновичем и журнал “Время” не прекращал “военных действий” на протяжении всей своей недолгой истории.

Льюис неоднократно с большим пиететом упоминался на страницах журнала “Русское слово” в статьях Д.И. Писарева о молодом поколении 1864 г. [17, т. 2, с. 376; т. 3, с. 59, 76, 130]. Фигурировал он и в критических выступлениях другого журнала братьев Достоевских, в “Эпохе”, но, что показательно, по-прежнему с оговоркой в пользу значительности и больших достоинств этого труда (Д.В. Аверкиев в статье “Университетские отцы и дети” отозвался о книге Льюиса как “дельной” и поучительной по сравнению с другими популяторно-научными изданиями) [18, с. 304–305]. Тем не менее, в “Преступлении и наказании” упоминание “Физиологии обыденной жизни” было дано Достоевским, несомненно, в негативном смысле, который совпадал с оценкой ее “Русским вестником”. Катков был встревожен этой книгой, считая ее появление и успех важным свидетельством поворота молодого поколения к чуждым философским началам, ведущим к разрушению традиционного национального бытия русского общества. Эпизод чтения “Физиологии обыденной жизни” Соней Мармеладовой, дошедшей в своем образовании лишь до самых начальных страниц древней истории (“На Кире Персидском остановились”), был навеян полемикой вокруг нее. Упоминание Льюиса в романе отвечало позиции журнала Каткова, однако, в целом, не расходилось и с отзывами в журналах братьев Достоевских: Соня Мармеладова читает книгу “с большим интересом” и даже “отрывочно вслух” сообщает какие-то сведения из нее своим домашним (труд Льюиса был наполнен яркими и доходчивыми жизненными историями и примерами).

## 2

Получив от матери письмо с сообщением о том, что его сестра Дуня согласилась стать женой “делового человека” Петра Петровича Лужина, Раскольников, потрясенный, рассуждает: “Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт; за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и... ну да уж, конечно, не изменилась и теперь!.. <...> Тяжело за двести рублей всю жизнь в гувернантках по губерниям шляться, но я все-таки знаю, что сестра моя скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу,

чем оподлит дух свой и нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего делать, – навеки, из одной своей личной выгоды! И будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законною наложницей господина Лужина!» [1, т. 6, с. 37]. Что касается упомянутого в этом фрагменте Шлезвиг-Гольштейна, то существуют два типа комментария – краткий, с указанием на войну Дании за герцогства Шлезвиг и Гольштейн [1, т. 7, с. 367], и пространный, с указанием на скрытый в подтексте намек на имя Бисмарка, которого якобы и имел здесь в виду Достоевский (см. ниже). Между тем в истории с этими герцогствами был совершенно определенный момент, который пришел на память возмущенному Раскольникову и который, конечно же, был опознан именно катковской редакцией, а вслед за ней, думается, и современниками.

Как комментирует строки романа академическое издание Достоевского, отторжение герцогств Шлезвиг и Гольштейн от Дании и присоединение их к Пруссии было главной целью войн Пруссии с Данией (1864) и Австрией (1866); в 1867 г. Шлезвиг и Гольштейн стали прусскими провинциями; все эти события систематически освещались русскими газетами и журналами 1860-х гг. В “Московских ведомостях” (их редактором также был Катков) существовала особая рубрика “Шлезвиг-Гольштейнский вопрос”, которая из номера в номер заполнялась свежими материалами. Вопрос этот имел длинную предысторию и сложнейшее дипломатическое “сопровождение”, связанное с изощренными действиями Бисмарка, главы правительства Пруссии. Достоевский был захвачен историей этого конфликта и с интересом следил за его развитием. Герой его “Записок из подполья” (1864) взывал: “Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. <...> Вот вам Наполеон – и великий, и теперешний. <...> Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн...” [1, т. 5, с. 112]. Датой “23 августа” 1864 г. помечена запись в тетради Достоевского о статье в “Московских ведомостях”, которая свидетельствовала, что в событиях вокруг Шлезвиг-Гольштейна писателя волновал безудержный милитаризм Пруссии, касавшейся в своих переговорах с Австрией “польских областей”, т.е. России [1, т. 20, с. 190, 382]; мысль об его опасности развивалась впоследствии в публицистике Достоевского 1870-х гг.

Летом 1866 г., работая над “Преступлением и наказанием”, Достоевский много говорил “о последних политических событиях, весь интерес

которых в то время сосредоточивался на австро-прусской войне” [19, т. 2, с. 56–57]. Высказывалось предположение о том, что за упоминанием о Шлезвиг-Гольштейне в рассуждении Раскольникова о судьбе сестры стоит мысль о Бисмарке с его идеей разрешения “великих вопросов времени” “железом и кровью” [5, с. 123]<sup>2</sup>. «Таким образом, – пишет Б.Н. Тихомиров, – казалось бы, немотивированное и случайное использование Раскольниковым “всего Шлезвиг-Гольштейна” в качестве *гиперболы* возможной материальной выгоды от брака сестры с Лужиным на самом деле глубоко обусловлено постоянной сосредоточенностью мысли героя на проблеме моральной ответственности в истории. В таком случае, упоминание Шлезвиг-Гольштейна суть первое обнаружение в романе важнейшей коллизии, лежащей в основе раскольниковской “теории”» [9, с. 100]. Между тем, вернувшись к тексту романа и перечитав возмущенную реплику Раскольникова, мы увидим намек – в связи с браком сестры – на продажность, на измену “нравственной свободе своей”, но никак не на “проблему моральной ответственности в истории”. Что же имел в виду Раскольников? О чем Достоевский хотел напомнить своим современникам?

В размышлениях героя “Преступления и наказания” угадываются события, предшествовавшие войне 1864 г. М.Н. Катков коснулся этого конфликта в передовой статье “Московских ведомостей” за 17 ноября 1864 г., посвященной явлениям сепаратизма в Российской империи. Говоря о требовании Пруссии и Австрии, связанном с изменением положения о престолонаследии в конституции Дании, и отказе на него, ставшем причиной начала военных действий, Катков писал: “Недавно, когда у несчастной Дании был отнят Шлезвиг германскими державами и когда некоторые из держав нейтральных, отчасти в предупреждение дальнейших затруднительных вопросов о судьбе этого герцогства, отчасти из желания сохранить за Датским королевством тень прежнего государственного состава, предложили ему удержать за собою как Шлезвиг, так и Гольштейн на праве личного соединения <т.е. путем изменения конституционных основ существования этих герцогств – под другой династией, августенбургской – в составе Датского королевства>, то главное препятствие к тому оказалось в самой Дании: гражданское чувство народа этой маленькой монархии было более оскорблено и взволновано

этим предложением, нежели исходом несчастной войны, отнявшей у нее столь значительную часть ее территории. Без сомнения, датчане отказались бы от такого предложения даже и в том случае, если б оно простиралось не только на Шлезвиг, но и на весь Ютландский полуостров” [22].

Статья Каткова имела большой резонанс и при перепечатке получила название “Цельность и однородность русского государства”. Передовица от 17 ноября представляла собой вторую часть большой работы Каткова о сепаратизме в России, а первая и заключительная ее части были напечатаны в “Московских ведомостях” за 10 и 19 ноября 1864 г. Достоевский заметил эту серию статей Каткова. Именно с ней была связана запись в рабочей книжке Достоевского, начинающаяся словами: “В то время, когда Гольштейн со Шлезвигом...” [1, т. 20, с. 203, 391] (в комментарии записи не отмечена ее связь с указанными передовицами Каткова). Запись Достоевского была отчасти полемической (с упоминанием позиции газеты “День”), отчасти конспективной, отчасти прогностической. Сопоставительный анализ этой записи с идеями Каткова, касающимися исторических территориальных приобретений России, будет развернут нами в другой статье; здесь же важно подчеркнуть: упоминание “Шлезвиг-Гольштейнского вопроса” в статье Каткова о Российской империи возникло в связи с вопросами о стратегии сепаратизма, нацеленной на разрушение государственной целостности.

Вернемся же к размышлениям Раскольникова о судьбе его сестры Дунечки, которую он как бы поставил на место, говоря словами Каткова, “маленькой” европейской монархии. Речь здесь идет об отказе Дании изменить важнейшую часть своей внутренней жизни – даже при условии сохранения за ней спорных территорий. Возможна здесь и другая, дополнительная ассоциация: широкую известность приобрело отречение в 1852 г. главы Августенбергского дома от всех прав на Шлезвиг с выплатой ему трех миллионов датских талеров, а затем, в 1863 г., – заявление его сыном своих притязаний на него, поддержанных (в самом начале конфликта) Германским Союзом (см.: [23, с. 9–10, 13–14 и др.]). Думается, намеки на эти недавние события и увидели в сетованиях Раскольникова первые читатели романа и, конечно, редакция “Русского вестника”.

## 3

Работа Достоевского с “Русским вестником” протекала в сложных условиях. Писатель с опаской осваивал новый для него периодический ор-

<sup>2</sup> О речах Бисмарка, затрагивающих вопрос о “двойственной оценке обществом человеческой жизни”, в соотношении с идеями, которые занимают Раскольникова, см.: [20, с. 233]; см. также: [21].

ган, во главе которого стоял видный российский деятель, с твердой общественной позицией. С другой стороны, и “Русский вестник” без излишней торопливости принимал на свои страницы автора, известного своим ярким дарованием и страстным напором в отстаивании своих убеждений, во многом далеких от мнений Каткова.

Известно одно серьезное столкновение Достоевского с редакцией журнала, привлекшее к себе пристальное внимание исследователей [1, т. 7, с. 325–327; 24] (которое, к сожалению, учитывали не все мемуарные источники). Речь идет о следующем эпизоде романа (ч. 4, гл. IV) – первом разговоре Раскольникова с Соней, в ее комнате, когда она читает ему Евангелие, о Лазаре. Попытка напечатать главу в каком-то другом, несохранившемся варианте вызвала решительное сопротивление редакции. Достоевский в письме из Москвы к А.П. Милюкову от 10–15 июля 1866 г. сообщил о задержке с текстом, который должен был явиться в июньском номере; в переговорах по этому поводу участвовал Н.А. Любимов, заведовавший редакцией журнала: “...одну из этих, сданных мною 4-х глав, – *нельзя напечатать*, что и решено было им, Любимовым, и утверждено Катковым. Я с ними с обоими объяснялся – стоят на своем! Про главу эту я ничего не умею сам сказать; я написал ее в вдохновении настоящим, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за *нравственность*. В этом я был прав, – ничего не было против нравственности и даже *чрезмерно напротив*, но они видят другое и, кроме того, видят следы *нигилизма*. Любимов объявил *решительно*, что надо переделать. Я <...> переправил и сдал. <...> Не знаю, что будет далее, но эта, начинающая обнаруживаться с течением романа противоположность воззрений с редакцией начинает меня очень беспокоить” [1, т. 28, кн. 2, с. 166]. Возвращая Любимову рукопись, Достоевский писал ему 8 июля 1866 г.: “*Зло и доброе* в высшей степени разделено, и смешать их и использовать превратно уже никак нельзя будет. Равномерно, прочие означенные Вами поправки, я сделал все и, кажется, с лихвою. Мало того: я даже благодарю Вас, что дали мне случай пересмотреть еще раз рукопись прежде печати: решительно говорю, что не оставил бы сам без поправок. <...> Всё то, что Вы говорили, я исполнил, всё разделено, размежевано и ясно. *Чтению Евангелия* придан другой колорит” [1, т. 28, кн. 2, с. 164].

Редакция “Русского вестника”, однако, не удовлетворилась переделками Достоевского. Посылая корректуру, Катков сообщал ему в середине июля 1866 г.: “...я позволил себе исключить некоторые

из приписанных Вами разъяснительных строк относительно характера и поведения Сони. <...> Скажу только, что ни одна существенная черта в художественном изображении не пострадала. Устранение резонирующих мест придало ему только большую объективность...” [1, т. 28, кн. 2, с. 437]; “резонирующие” здесь следует понимать как производное от слова “резонировать (резонёрствовать)”, т.е. пространно и скучно рассуждать о чём-либо, придавая нравоучительный характер своим рассуждениям. “Что же касается до переделок и выпусков, сделанных Вами, – писал Достоевский Каткову 19 июля, – то некоторые из них, как замечаю теперь, конечно, необходимы, но других выпусков (в конце) мне жалко” [1, т. 28, кн. 2, с. 166–167].

Л.Д. Громова-Опульская писала по поводу претензий редакции: «Возражения Каткова и Любимова были вызваны прежде всего тем, что слова Евангелия Достоевский в этой главе вложил в уста “падшей женщины”, сделав ее вдохновенной толковательницей учения Христа и наставницей героя на пути его возрождения» [1, т. 7, с. 326]. “Следы нигилизма”, которые упомянул к письме к Милюкову Достоевский, – это то преломление “женского вопроса”, которое получил в романе образ проститутки, сохранившей в изображении писателя нравственную и душевную чистоту.

Письмо Достоевского о начале разбирательства в редакции по поводу “евангельской главы” романа было напечатано в 1889 г. в “Русском вестнике” с примечанием, принадлежавшем, несомненно, Любимову: “Из письма видно, что ему <Достоевскому> не легко было отказаться от задуманной утрированной идеализации Сони как женщины, доведшей самопожертвование до такой ужасной жертвы. Федор Михайлович значительно сократил разговор при чтении Евангелия, который в первоначальной редакции главы был много больше, чем сколько осталось в напечатанном тексте” [25]. Так получилось, что исследователи, пытавшиеся разобраться с претензиями “Русского вестника” к Достоевскому, оперировали лишь этим комментарием участника событий. Между тем, существовало еще одно высказывание Любимова, в котором позиция катковского журнала была прояснена в более резких выражениях (оно было напечатано в 1895 г. в газете “Свет” в разделе, который вел Любимов: “Отголоски”, подпись: Н \*\*\*): “...выведенная Достоевским фигура Сони как выдуманная и деланная весьма претила <...> М. Н. Каткову. <...> Катков с трудом принял на страницы своего издания те главы, где говорится об отношениях Сони и Раскольникова. <...> Катков не мог переварить мысли, чтоб занятие про-

ституцией могло в каких бы то ни было условиях сделаться высшим подвигом самопожертвования и таить под собою невинную чистоту души, сохраняющей белизну в грязной оболочке тела» [26]. Поскольку это высказывание не анализировалось исследователями, остановимся на нем по возможности подробнее.

Сообщение Любимова в газете «Свет» свидетельствует, что еще одно предположение Громовой-Опульской, связанное с претензиями «Русского вестника» к Достоевскому, не было верным (во всяком случае, у него нет какого-либо эпистолярно-документального подтверждения): «Смущала, очевидно, редакцию журнала также убедительность и сила реплик Раскольникова, который оправдывает свои действия тем, что доктрина, толкнувшая его на преступление, ничем принципиально не отличается от нравственных норм, которыми руководствуются люди из общества, считающие свои – столь же безнравственные – поступки совместимыми с существующим законом и с христианской моралью» [1, т. 7, с. 326]. Этого в недошедшей (первоначальной) редакции четвертой главы «Преступления и наказания», по-видимому, не было, а всё сосредотачивалось на Соне Мармеладовой, проститутке, выведенной Достоевским в «Преступлении и наказании» в качестве положительного, идеального образа.

Столкновение это проходило в русле все того же бурно обсуждаемого русским обществом «женского вопроса», одной из сторон которого была проблема свободы женщины в том, что связано с ее личной жизнью. Для передового литературно-общественного лагеря было характерно полное единодушие в оправдании «падшей женщины» как жертвы общественных порядков и нравов [27, с. 66, 99, 146–147]. Эти настроения встречали решительный отпор со стороны консервативной журналистики, предлагавшей, помимо резко выраженного или чуть приглушенного негативизма, реалистичные картины и суждения по поводу положения женщин, переступивших важную для общественной морали черту. В представлениях деятелей консервативно-охранительного лагеря о нигилизме иной подход к этой проблеме общественной этики был одним из самых ярких его проявлений (о связи «женского вопроса» и нигилизма см.: [28]). В переговорах по поводу четвертой главы «Преступления и наказания» именно «нигилизм» в подходе к «женскому вопросу» определил позицию и претензии со стороны редакции «Русского вестника» к Достоевскому.

Застрельщицей в отстаивании равенства женщины и мужчины в том, что касалось их ответ-

ственности перед обществом за «чистоту» своей жизни, была, как известно, Жорж Санд. У этой писательницы в России был самый преданный читатель, с благодарностью возвращавшийся к воспоминанию о Лукреции Флориани (одной из самых популярных героинь Ж. Санд), чистой и возвышенной, несмотря на всю сложность ее свободной от брачных пут судьбы (и четверых детей от разных мужчин!), доказавшей, например, такой читательнице, как А.П. Сулова, что представление о единственной любви в жизни женщины является устаревшим. Наряду с поклонниками, у французской писательницы были в России и обличители, отстаивавшие традиционную мораль и недопустимость отступлений от нее. Конечно, Катков, много сделавший во второй половине 1850-х гг. для освещения вопросов о положении женщины и, в частности, для пропаганды творчества Ж. Санд [27, с. 115–116], не принадлежал к числу оголтелых ее ниспровергателей и критиков, как, например, Т.И. Филиппов, писавший на страницах «Русской беседы»: «Самые сильные и опасные по своему влиянию возражения против семейного союза провозглашались в романах Жорж Занда. С именем этой женщины связано столько зла, что говорить об ее достоинствах приходится с большой осторожностью...» [29, с. 80].

У Каткова в начале 1860-х гг. была сложная позиция по комплексу проблем, связанных с женской эмансипацией. Достоевский впервые столкнулся с ним по «женскому вопросу» в 1861 г. на страницах журнала «Время», выступив со статьями «Образцы чистосердечия» и «Ответ «Русскому вестнику»», в которых защищал русскую даму, рискнувшую продекларировать на концерте стихотворение Пушкина о Клеопатре «Чертог сиял...» (см.: [1, т. 19, с. 91–104, 119–139, 292–295, 300–308]). В «Ответе» писатель упомянул о том, что «Русский вестник» отнес его к «эмансипаторам», причем «стал дразнить и стыдить этим прозвищем». Отстаивая свою правоту, Достоевский высказал типично «жорж-сандовскую» убежденность в том, что «свадьбы молодых девушек с сладострастными и богатенькими старичками» являются той же «продажей тела <...> безнравственной и позорной, как и всякая другая продажа тела» [1, т. 19, с. 124, 126].

Столкновение Достоевского и Каткова в 1861 г. затрагивало не только принятые в русском обществе правила поведения женщины, призванной к целомудренности во всем, что относится к обнаружению ее пристрастий, наклонностей, предпочтений. В ходе обсуждения проблемы женского поведения, в выступлениях Каткова и Достоевского вышло на поверхность расхождение и в во-

просах эстетических, скрывавших, с одной стороны, пуристическое неприятие определенных тем, образов, сюжетных положений в художественном произведении (в данном случае пушкинском), а с другой – готовность к восприятию прекрасного в глубоко трагических коллизиях и образах, выпадающих из нормативного жизненного спектра.

Значит ли это, что Катков полностью исключал образы “падших женщин” из арсенала современной литературы? Конечно, нет, и это показывает его журнал, отзывавшийся на литературные новинки с образными вкраплениями такого рода. Но, как свидетельствуют страницы “Русского вестника”, для его редакции исключительную важность здесь имела позиция автора и – самое главное – самоощущение изображенной “несчастной женщины”, кающейся или, по крайней мере, приближающейся к покаянию. Своего рода идеальным литературным образцом такого рода стала судьба Флер де Мари (в прошлом, по стечению обстоятельств, проститутки, по происхождению же, ни много ни мало, – принцессы крови), героини “Парижских тайн” (1842–1843) Э. Сю, считавшей себя “примером самого подлого, что может быть в мире”. В ответ на это самообвинение она получает следующий ответ священника (при этом он, как и сама Флер де Мари, еще не знает о ее высоком происхождении): “Даже такое щедро одаренное создателем существо, как ты, погрузившись однажды в нечистоты, подобные тем, из коих тебя извлекли, будет хранить на себе неизгладимые отметины. Такова непреклонная воля божественного правосудия. <...> Здесь, на земле <...> тебе уготованы раскаяние, слезы, искупление грехов...” [30, т. 1, с. 326]. Именно раскаяние, не утоляемое даже монашеской жизнью, привело героиню, превратившуюся вновь (благодаря чудесной перемене) в принцессу, к преждевременному угасанию и смерти, поскольку она так и не смогла почувствовать себя равной и достойной той любви и почитания, которыми ее окружили отец и его подданные (прошлое Флер де Мари оставалось для них последних тайной). Сложное, авантюрное повествование Сю, исполненное сочувствия к страждущим и угнетенным, было настолько прозрачным по вложенному в него нравовучению, что тут же в русской периодике зазвучали призывы к его переводу: “...все эти сцены крови и чувства, истинной и глубокой преданности, добродетели, честной радости и бесчестного минутного торжества расположены так мастерски, что возбуждают непритворное участие к честным людям и неизъяснимую ненависть к пороку” [31].

Судьба героини Эжена Сю была во многом predetermined “старой” литературной традицией, утвержденной на устоях религиозно-нормативной этики, однако и новые тенденции, вторгавшиеся в художественное творчество вслед за расширением его сюжетно-образного диапазона, лишь по видимости изменили литературную судьбу проститутки. Фантина, героиня “Отверженных” (1862) В. Гюго, с ореолом “святой проституции”, т.е. не подлежащей осуждению, – погибает. Это соответствовало не только читательским ожиданиям, но и жизненной правде. В середине 1860-х гг. в России начинают публиковаться статистические сведения о проститутках, из которых ничтожно малый процент обращался, благодаря разного рода организациям, к трудовой деятельности (сложность была связана, в первую очередь, с психологией отвыкшей от труда женщины и ее закреплением на стезе “честной жизни”) или же обретал выход в брачном союзе (эти случаи представляли вообще исключительную редкость) [32, с. 21–23, 85–86 и след.]. В подавляющем большинстве, участь “жертв общественного темперамента” – ранняя смерть, сопряженная с болезнями и социально-личностной деградацией. Читатель, встречавшийся с образом очередной “грешницы” на страницах литературного произведения, знал об этом (и не со страниц статистических отчетов!). Достоевский же предложил русскому читателю нечто принципиально новое – образ проститутки, которая не погибала, а продолжала жить, причем на нормальной стезе, сохраняя чистоту своей души. Это был путь, в котором прослеживается воздействие Жорж Санд. В некрологе 1876 г., посвященном французской писательнице, Достоевский назвал свои любимые женские образы, ею созданные, подчеркнув в одном из них “то гордое целомудрие, которое не боится и не может быть загрязнено от соприкосновения даже с пороком, даже если б вдруг существо это очутилось случайно в самом вертепе порока”. При этом Достоевский очень хорошо понимал чуждость французской романистке тех женских образов, которые сам он, руководствуясь своим художественным чутьем, находил в русской действительности, поскольку “юродивых и забытых” она не любила [1, т. 23, с. 36, 37].

Рукописи романа показывают, что образное решение далось писателю путем огромных усилий: он буквально “перенастроил” свое первоначальное восприятие судьбы Сони Мармеладовой, дав в окончательном тексте полную противоположность тому, что ему виделось при зарождении замысла романа. Исследователями отмечался идеализированный (и даже романтизированный)

характер образа проститутки в произведении Достоевского (см., например [33]). На наш взгляд, это мало что добавляет к пониманию замысла писателя, который, судя по подготовительным материалам к роману, хорошо представлял себе подлинную жизнь продажных женщин “с Сенной площади”. Задумывая образ одной из них в “Преступлении и наказании”, Достоевский видел ее сначала как “простое и забитое существо”, добавляя: “А лучше грязную и пьяную с рыбой” [1, т. 7, с. 92]. Как постепенно этот образ менялся в рукописях романа, преобразуясь в смиренную, самоотверженную, целомудренную Соню Мармеладову, умеющую, несмотря на всю свою тихость, так пламенно говорить об Иисусе Христе, показано в книге Л.М. Розенблум (ее работа впервые появилась в т. 83 “Литературного наследия” и была затем издана отдельной книгой с рядом ценных дополнений) [34, с. 225–226, 264–274 и др.]. На каком-то этапе создания последней, третьей редакции Соня Мармеладова еще обладала способностью земной любви и могла ее активно проявлять [1, т. 7, с. 143]. После того, как в замысле романа выкристаллизовалась идея счастья в страдании, произошло окончательное и кардинальное превращение Сони в идеальную проповедницу христианства.

Русская литература, с момента публикации в 1845 г. стихотворения Н.А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья...», обладала одной из формул своего рода восстановления “падшей женщины”: “И в дом мой смело и свободно / Хозяйкой полною войди!” [35, т. 1, с. 34]. Когда Писарев объявил в 1861 г. в статье “Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова”: “...женщина ни в чем не виновата” [17, т. 1, с. 200], – то это было продолжением некрасовской линии, но уже с примесью нигилистических настроений. Дело в том, что героиня некрасовского стихотворения – это Магдалина кающаяся, причем горько, неутешно, которой мужчина (через свой великодушный призыв) хочет вернуть, в первую очередь, самоуважение. Соне Мармеладовой, что поразительно именно на фоне литературной традиции изображения “падшей женщины”, не свойственна покаянная рефлексия в связи с ее “ремеслом”; она стыдится своего заработка, что реалистически показывает Достоевский не однажды на страницах своего романа, но это нечто принципиально иное по отношению к самочувствию героинь Э. Сю и Некрасова.

По-видимому, именно на 1860-е гг. приходится оскудение традиции, связанной в русской литературе с изображением кающейся “падшей женщины” [36]. В этом русле двигался и Достоевский,

обдумывая новый женский образ в своем романе. Особость Сони была разработана Достоевским как решение, найденное в упорных размышлениях над замыслом о “преступлении и наказании” Раскольникова. Здесь всё было сложно: как привести к перерождению нераскаянного убийцу – человека новых убеждений и горячего сердца, человека яркого, сильного, несломленного; трудная художественная задача рождает и необыкновенную героиню, для которой проституция не есть путь “истления” (церковнославянизм, относящийся к тлению, опустошению, порче, гниению плоти, прошедшей через растление). Можно, конечно, предположить, что эта сторона образа Сони была связана с недооценкой Достоевским психологии женщины, оказавшейся в подобном положении (глубоко травматичном, что является аксиомой и для психиатрии, и для медицинской психологии). Однако более вероятно, что построение образа Сони Мармеладовой осуществлялось Достоевским как выношенная художественная стратегия. Для реальной действительности это был образ “фантом”, и Достоевский вводит в свой роман мотив, воспринимающийся читателем как мнение героя, его невольное и хлесткое слово о героине: юрдивая. Между тем, именно это обстоятельство делает для нее возможным ослабить воздействие прошлого, которое подмяло под себя ее существо: Соня уже переменяла одежду, поскольку озабочилась тем, что не каждый вечер может найти “гостя”, она уже знает свой доход от “ремесла” и может оценить реально возможность помогать семье... И Раскольников, и Свидригайлов полагают, что нравственное “растление”, падение Сони – это дело будущего. Однако и настоящее ее обнаруживает четкую границу, куда ее “юрдивое” сознание как будто не заглядывает.

Записи Достоевского в одной из его записных книжек более четко, чем в окончательном тексте, показывают отношение Сони к тому, что она вынуждена делать с собой: «После смерти Мармеладовой, когда *он* называет ее святою, она с испугом говорит: “Ах, что вы это! Я великая грешница”. Когда же он думает, что она говорит о желтом билете, и высказывает ей это: Соня <...> говорит ему: *я не про это*, но я неблагодарна была, я против любви много раз погрешила, и рассказывает тут историю (сочинить мастерски), как униженной и убитой Мармеладовой захотелось раз воротничка вышитого...» [1, т. 7, с. 135]. Эпизод с Катериной Ивановной и воротничком попал именно в четвертую главу, подвергнутую критике в редакции “Русского вестника”, при этом характерной оговорки “*я не про это*” в дошедшем до нас (т.е. окончательном) ее тексте нет. Эта ого-

ворка вполне могла быть в тексте и возмутить, в числе прочего, Любимова и Каткова. Звучала она, надо признать, в духе самых “нигилистических” представлений о взаимоотношениях полов, поскольку предлагала считать ничего не значащим то, что представляло абсолютную ценность для общепринятой этической системы.

В.Я. Кирпотин, основываясь на словах Любимова о Соне как “женщине, доведшей самопожертвование до жертвы своим телом”, высказал предположение, что в исключенном тексте главы Соня стала “возлюбленной”, “женой” Раскольникова [5, с. 167–168]. Л.Д. Громова-Опульская справедливо считала, что для такого толкования высказывания Любимова нет оснований [1, т. 7, с. 327]. Подготовительные материалы к роману свидетельствуют лишь о том, что разговор с Соней виделся Достоевскому первоначально более страстным, напряженным по тону, чему соответствовали обращения к ней Раскольникова как к своей “повелительнице и <...> судьбе”. Более ярко выраженной была и роль ее в качестве резонера: «– Ну, поцелуйте Евангелие, ну, поцелуйте, ну, прочтите! <...> Это когда она убеждает его, т.е. прежде прощания. “Я сама была Лазарь умерший, и Христос воскресил меня”» [1, т. 7, с. 185, 192]; в окончательном тексте инициатором чтения Евангелия становится Раскольников, которому по-своему сопротивляется героиня. Соня Мармеладова в подготовительных записях третьей (последней) записной тетради – “выразитель одной из важнейших идей романа”, связанных, по словам Достоевского, с “православным воззрением” на страдание как условие искупления, счастья и нравственного возрождения человека; исчезнувшие из сцены с Евангелием высказывания и мысли героини впоследствии были вложены автором в уста следователя, пришедшего к Раскольникову с предложением явиться с повинной и ставшего своего рода “апологетом страдания” [24].

Корректировку “резонирующих”, по выражению Каткова, реплик и жестов Сони, вероятнее всего, вдохновлял он сам. Впоследствии, при подготовке отдельного издания романа 1867 г., Достоевский уже самостоятельно, без какого-либо давления, сглаживал сходные черты при редактировании четвертой главы пятой части (сцена признания Раскольникова Соне). Что же касается главы четвертой из предшествующей части, то изменения в ее тексте в издании 1867 г. оказались минимальными. Это говорит о том, что писатель

был удовлетворен своей работой, проделанной над этой главой по настоянию Каткова<sup>3</sup>.

Отношения Сони и Раскольникова в романе абсолютно целомудренны. Она едет за ним в Сибирь не в качестве жены, возлюбленной, невесты. В эпилоге романа Соня просто сопровождает его, чтобы помогать в насущных нуждах. Читатель расстается с героями “Преступления и наказания” в тот момент, когда их любовь становится взаимной и полной. Это сюжетное решение отодвигало во внероманное будущее любовь (брак) дворянина с бывшей проституткой, который, конечно же, был крайне нежелателен на страницах “Русского вестника” (это не связь представителя образованного общества с камелией, ставшая расхожим сюжетом в литературе той эпохи). Думается, что конфликт вокруг четвертой главы четвертой части наложил определенный отпечаток на разрешение любовной интриги в романе Достоевского.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
2. *Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского.* В 3 т. / Под ред. Н.Ф. Будановой и Г.М. Фридендера. СПб., 1993.
3. *Библиотека Ф.М. Достоевского: Опыт реконструкции; Научное описание.* СПб., 2005.
4. *Гроссман Л.П.* Семинарий по Достоевскому: Материалы, библиография и комментарии. М.; Пгр., 1922.
5. *Кирпотин В.Я.* Разочарование и крушение Родиона Раскольникова: (Книга о романе Достоевского “Преступление и наказание”) // *Кирпотин В.Я.* Избранные работы. В 3 т. М., 1978. Т. 3. С. 7–434.
6. *Соловьев Н.И.* Разлад. (Критика критики) // *Эпоха.* 1865. № 2. С. 1–40.
7. *Неделя.* 1866. 10 апреля. № 5. С. 72–73.
8. *Достоевский Ф.М.* Преступление и наказание / Издание подготовили Л.Д. Опульская и Г.Ф. Коган. М., 1970. (“Литературные памятники”).
9. *Тихомиров Б.Н.* “Лазарь! гряди вон”: Роман Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” в современном прочтении: Книга-комментарий. СПб., 2005.
10. *Водовозова Е.Н.* На заре жизни. В 2 т. М., 1964.

<sup>3</sup> Высказывалось предположение об еще одной стороне доработки Достоевским по требованию редакции главы четвертой – переводе евангельских цитат с издания Российского библейского общества 1823 г. (его Достоевский хранил с 1850 г.) на новое издание Святейшего Синода [37].

11. Юнге Е.Ф. Воспоминания (1843–1860 гг.). СПб., [1914].
12. Русский вестник. 1861. № 4. Литературное обозрение и заметки. С. 79–105.
13. Русский вестник. 1861. № 5. Литературное обозрение и заметки. С. 26–59.
14. Отечественные заметки. 1861. № 7. Русская литература. С. 57–59.
15. Время. 1861. № 11. Критическое обозрение. С. 50–63.
16. Колубовский Я.Н. Материалы для истории философии в России. 1855–1880 // Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 5. С. 37–40.
17. Писарев Д.И. Сочинения. В 4 т. М., 1955–1956.
18. Аверкиев Д.В. Университетские отцы и дети. (Продолжение) // Эпоха. 1864. № 3. С. 301–324.
19. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. В 2 т. / Вступ. ст., сост. и коммент. К. Тюнькина. М., 1990.
20. Брандес Г. Литературные впечатления // Собрание сочинений. В 20 т. СПб., [1913]. Т. 19.
21. Подосокорский Н.Н. Идея и образ Бисмарка в творчестве Ф.М. Достоевского // Литературоведческий журнал. 2011. № 28: Материалы III Международного симпозиума “Русская словесность в мировом культурном контексте”. С. 85–93.
22. Московские ведомости. 1864. 17 ноября. № 252.
23. Чудовский В. Война за Шлезвиг-Гольштейн 1864 г. СПб., 1866.
24. Тихомиров Б.Н. Из творческой истории романа Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”: (Соня Мармеладова и Порфирий Петрович) // Русская литература. 1986. № 2. С. 217–223.
25. Русский вестник. 1889. № 2. С. 361.
26. Свет. 1895. 1 марта. № 49. С. 3.
27. Тишкин Г.А. Женский вопрос в России: (50–60-е годы XIX в.). Л., 1984.
28. Дрыжакова Е.Н. Достоевский и нигилистический роман 1860-х годов // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2005. Т. 17. С. 3–29.
29. Филиппов Т.И. <Рец. на кн.> Не так живи, как хочется <...> Сочинение А.Н. Островского // Русская беседа. 1856. Кн. 1. Отд. III. С. 70–100.
30. Сю Э. Парижские тайны. В 2 т. М., 1993.
31. Северная пчела. 1842. 29 сентября. № 217.
32. Кузнецов М.И. Проституция и сифилис в России: Историко-статистические исследования. СПб., 1871.
33. Moravcevic N. The romantization of the prostitute in Dostoevskij’s fiction // The Image of the Prostitute in Modern Literature / P.L. Horn and M.B. Pringle, eds. N. Y.: F. Ungar, 1984. P. 53–61.
34. Розенблюм Л.М. Творческие дневники Достоевского. М., 1981.
35. Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем. В 15 т. Л., 1981–2000.
36. Мельникова Н.Н. Архетип грешницы в русской литературе конца XIX – начала XX века. Автореф. <...> канд. филол. наук. М., 2011.
37. Тихомиров Б.Н. Достоевский цитирует Евангелие: (Заметки текстолога) // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 13. С. 189–194.